



Родился в 1947 году в селе Ромны Амурской области. Окончил Иркутский институт иностранных языков. Работает журналистом. Первые произведения публиковались в журнале "Дальний Восток". В 1990 году вышла его книга повестей и рассказов "Охота на красного волка", в 1996-м — книга прозы "Семьдесят третий" и сборник стихотворений "Разрушение обыкновенного", в 1997-м — роман "Положение вещей". Член Союза писателей России.

ПОВЕСТЬ

СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ

Меня задерживали двое в штатском. Я еще не успел войти в подъезд своего дома, как чья-то рука легла мне на плечо и приглушенный голос спросил:

— Соколов Леонид Викторович?

Я повернул голову и увидел двух молодых мужиков, одетых в приличные серые костюмы. Стояла августовская жара, а они были в костюмах, и я это отметил. Сердце невольно екнуло. Кто это? Милиция? Но почему?.. Я ведь, кажется, ничего такого...

— Мы из комитета государственной безопасности. Следуйте за нами в машину.

Я тупо посмотрел на них, потом перевел взгляд на "Волгу". Она стояла в глубине двора, и я, когда шел домой, ее не заметил. "Зачем?" — хотел я спросить, но только проглотил подкативший к горлу сухой ком и, как во сне, двинулся к машине. "Садитесь", — вежливо сказал гэбэшник, открыв заднюю дверцу. Я сел, оказавшись в конечном итоге между двумя моими опекунами. "Едем", — кивнул водителю один из них.

Когда мы выехали со двора, я глянул в боковое стекло. По улице

шли люди. Я плохо видел их лица: у меня все плыло в глазах — но как остро я вдруг позавидовал обладателям этих неясных лиц, как я хотел бы оказаться на их месте... В голове замелькали страшные мысли, но я поспешил прогнать их. Не тридцать же седьмой год на дворе, а семьдесят третий. Не могли ведь эти две цифры поменяться вдруг местами — не в сказке живем, а в реальной жизни. И вообще — я же ничего такого не сделал, чтобы меня...

А может... Да-да, вот именно... Что, если они каким-то образом познакомились с моими дневниками? Или с моими рассказами, которые, в общем-то, писались не для публики. В них ведь многое что есть... Но каким образом эти бумаги могли оказаться в чужих руках? Кто мог передать их гэбэшникам? Мои родители? Исключено. Не будет же мать клепать на сына. И отец не будет. Впрочем, я никогда не посвящал своих стариков в то, о чем пишу.

Ехать пришлось недолго — я живу, считай, в двух шагах от комитета безопасности. С детства помню это здание — массивное и хмурое. На дверях его висел когда-то огромный старинный термометр, и мы пацанами бегали сюда, чтобы узнать температуру на улице. А часовой, будка которого была на углу здания, постоянно прогонял нас. “Брысь! — говорил он. — Не положено”.

А потом мы стали ходить сюда не из-за термометра. Это когда в конце пятидесятых страна узнала правду о чекистских застенках. И вот мы, пацаны, вглядываемся вниз, за металлическое ограждение, в мрачные стекла зарешеченных подвальных окон, и представляем себе, как истязали людей в этих подвалах, думаем: а вдруг и сейчас продолжаются допросы и расстрелы, — вслушиваемся в тишину сумерек и боимся, что в самом деле что-то услышим. А еще боимся часового, который подкрадывается к нам в вечерней полутьме и пугает своим зычным голосом...

Водитель “Волги” лихо подрулил к подъезду и, заглушив двигатель, небрежно откинулся на спинку сиденья. Дескать, можете вылезать и заниматься своими делами, а я свое уже сделал. Счастливчик, подумал я, ему выпало лишь подвозить других к этому подъезду, а не самому быть подвозимым.

Отворилась огромная тяжелая дверь, и мы трое — я и мои опекуны — вошли под своды старинного здания, в котором я никогда раньше не был и в которое, естественно, молил Бога не попадать. Один из опекунов негромко что-то сказал дежурившему у входа старшине, и тот, кивнув, пропустил нас.

Мы шли длинным коридором первого этажа. После суетной, дышащей жаром улицы здесь было на удивление тихо и прохладно. Неслышно открылась дверь одного из кабинетов, кто-то вышел и, бросив на нас внимательный взгляд, бесшумно скрылся в полумраке коридора. Мы тоже шагали бесшумно: толстый широкий ковер поглощал звук шагов. И все эти массивные двери кабинетов были так хорошо пригнаны, что не

издавали ни звука, когда их открывали и закрывали.

— Вот сюда. Входите, пожалуйста, Леонид Викторович.

Предупредительный и мягкий голос опекуна меня немного приободрил. Я шагнул в открытую передо мной дверь. Кабинет был большой и вытянутый, как трамвай, со старомодной люстрой под высоким потолком. В дальнем конце, у окна, за огромным тяжелым столом, восседал человек средних лет, в сером, как и у тех, кто меня сопровождал, костюме.

— Леонид Викторович Соколов? Пожалуйста, присаживайтесь, — хозяин кабинета указал мне на стул у приставного столика. Тут же он сделал жест моим опекунам, чтобы они ушли.

Я уже готов был успокоиться: кажется, ничего страшного не произошло. Вот и эти двое улыбнулись мне на прощание как-то по-доброму. Конечно же, они привезли меня не для того, чтобы засадить в подвал, а для какого-то важного дела. Может, мое знание английского языка кому-то здесь потребовалось? А что? Говорят, гэбисты часто прибегают к услугам переводчиков. Мы поговорим сейчас с этим человеком, который, видно, здесь за старшего, я ему что-нибудь переведу или дам нужную консультацию — и он отпустит меня домой. Я же не преступник, я обыкновенный честный человек, каких миллионы...

— Когда потребуетесь, я вас вызову, — бросил хозяин кабинета еще не успевшим удалиться молодым чекистам.

И вновь во мне будто что-то оборвалось. Нет, отсюда так просто не уходят.

— Леонид Викторович, расскажите-ка немного о себе, — просит хозяин кабинета.

— О себе? — я пожимаю плечами. — А что, собственно, рассказывать? — С каким-то отстраненным интересом я замечаю, что губы у меня, как мертвые, язык едва шевелится. — Мне двадцать шесть лет... Будет двадцать шесть, — поправляюсь я, спохватываясь, что в этом учреждении любят точность. — Есть отец и мать. В шестьдесят шестом кончил школу, служил в армии. Сейчас учусь...

— Леонид Викторович, — мягко прерывает он меня, — эти факты нам известны. Лучше расскажите о своих увлечениях. Ну, есть же у вас какие-то, как сейчас говорят, хобби.

Я молчу, пытаюсь сообразить, что хочет выведать у меня этот тщедушный человечек с острым взглядом, жидкими, зачесанными назад волосами и очень бледным лицом. Бледное лицо — это было первое, что мне бросилось в глаза из его внешности. Неужели они и в самом деле пронюхали о моем увлечении прозой? Но кто им мог об этом сказать? Друзья? Их у меня много. Но не станут же друзья меня закладывать!

— Ну, какие хобби... — я вздыхаю и, подумав, нерешительно бормочу. — Когда-то спортом занимался. Сейчас, считай, бросил. Так, изред-

ка пробежку сделаю по набережной... Да, книги вот собираю.

— А какие книги? — оживляется гэбэшник.

— Редкие.

— А что значит редкие? — Кажется, он настороженно узит глаза. Я смотрю на него, пытаюсь лучше разглядеть выражение его лица, чтобы предугадать некие возможные удары в мою сторону, но мешает свет, который прорывается в сумрак кабинета из окна, расположенного за спиной маленького человека, и остро бьет мне в глаза. — Вот ему, моему визави, следить за мной легко. — Я говорю — что значит редкие? — повторяет он, видя мою заминку. — Редкими бывают и Бальзак, и Моэм, и Лесков. Классика! Но есть редкие книги иного толка. Я имею в виду те, что запрещены у нас, но их кто-то усиленно распространяет среди населения в машинописном варианте. Вам знакомы такие книги?

— Нет, не знакомы, — глухо говорю я, а внутри у меня все холодеет. Я вспоминаю о машинописных копиях двух повестей Солженицына, упрятанных у меня где-то между книг...

— Ну, допустим... — откидывается на спинку стула бледнолицый. Он в начале нашей встречи, кажется, представился, но я, по причине волнения, не запомнил ни его имени, ни звания. — Допустим. Ну, а сами-то вы не пробуете писать?

— А кто сегодня не пробует писать? — Я старюсь говорить более-менее ровным тоном. — Многие пишут. Что тут плохого?

— Да нет, Леонид Викторович, пробовать можно по-разному, — мягко возражает он. — Для иных это только проходящая шалость, человеку хочется выплеснуть чувства на бумагу. Стишки пишут, рассказы. Ну, любовь там, страдания... В этом, действительно, ничего плохого нет. Но ведь иные начинают строй наш грязью поливать. Их государство растило, воспитывало, а они, понимаешь, благодарят его таким образом... Ну, Солженицын — понятно: он в лагерях сидел, обозлился против всех и вся, — а другим-то чего нужно? Чего им не хватает? Пишут, понимаешь, всякую гадость, а после за границу бегут — принимайте, мол, нас, мы свою родину оплевали!..

Я чувствую, что бледнолицый распаляется: тон его повышается, жесты резкие, раздраженные... Может, это все делается в качестве профилактики? Я ведь слышал, что такие методы сейчас популярны в гэбэ. Прознали что-то о моей писанине — и попробуют предупредить, чтобы я не “свихнулся”. А может, им точно известно, о чем я пишу?.. Не-ет, если меня сегодня отпустят с миром, нужно понадежнее запрягать свои бумаги. И никому не показывать, даже близким друзьям.

Я снова начинаю немного успокаиваться. Похоже, меня в самом деле доставили сюда ради “профилактики”. Вот ведь просит уже бледнолицый принести почитать что-нибудь из моих рассказов... Значит, отпустит?..

Но гэбэшник вдруг делает коротенькую паузу, выражение его лица

как-то странно меняется — во всяком случае, мне так кажется, хотя я плохо вижу его лицо.

— А теперь взгляните, Леонид Викторович, — голос его звучит суше, официальнее. Он выдвигает ящик стола, достает и кладет передо мной два небольших кусочка бумаги. Я оторопело гляжу на них. Сначала до меня доходит, что это — визитные карточки, которые в то время были у нас еще в диковинку. А еще через мгновение я узнаю и сами эти визитки, эти красивые золотые букочки...

— Боже, но откуда они у них? — застонало у меня в груди. — Я же, кажется, еще вчера видел их у себя на книжной полке. А может, позавчера... Неважно, факт тот, что еще недавно визитки были у меня дома!

— Узнаете, Леонид Викторович?

Я смотрю на бледнолицего и не вижу его.

— Узнаю.

Бледнолицый снимает телефонную трубку, набирает номер и что-то говорит. Слов я его не разбираю. У меня кружится голова... Ну кто, кто выкрал у меня эти чертовы визитки?

В кабинет без стука входит человек. Я вижу его боковым зрением. Он не доходит до стола и садится на стул у стены, слева от меня. Сел, молчит.

— Значит, Леонид Викторович, вы узнаете эти визитные карточки? — повторяет вопрос бледнолицый.

— Да, конечно.

— Они принадлежат вам?

Я пожимаю плечами, стараюсь собраться с духом.

— Наверно, уже вам. — Тон мой скорее жалок, чем ироничен.

— Но принадлежали вам?

— Принадлежали.

— Тогда расскажите мне, Леонид Викторович... — бледнолицый как будто не обращает внимания на присутствие второго гэбэшника и продолжает формулировать вопросы исключительно от себя. “Расскажите мне” — и все тут... — каким образом эти визитные карточки попали к вам и что вы собирались с ними делать. Вопрос понятен?

Вопрос понятен. Но что отвечать?... Прикинуться дурачком? Мол, я их просто нашел. А не выбросил только потому, что уж больно красивые... Хотя такой номер едва ли пройдет. Тот, кто принес визитки сюда, наверняка кое-что знал. Иначе зачем стал бы их красть?..

— Ну же, Леонид Викторович, я вас слушаю.

— Не так давно я ездил в Хабаровск... — начал я, но бледнолицый тут же прервал меня:

— Точнее, пожалуйста. В каком месяце? С какой целью?

— Ездил я в начале июля.

— Так. Пошли дальше.

— Там познакомился с японцами, они оставили мне свои визитки.

Вот и все. Бледнолицый морщится, косится на напарника и с некоторым раздражением говорит:

— Леонид Викторович, ну что это за ответ? Познакомился, оставили... Давайте в деталях. Вы приехали в Хабаровск. Зачем? К кому? Давайте с самого начала.

Я медлю. И это, в общем, естественно. Я не обязан отчитываться перед незнакомым о том, как я проводил летний отдых...

— Так что вы делали в Хабаровске?

— Гостил у знакомых.

— Назовите их.

Я молчу. Думаю, что говорить и как говорить. Чтобы не навредить ни Виктору, ни Сашке... Чтобы не получилось предательства. Поскользнуться здесь легко: одно необдуманное слово — и у людей клеймо на всю жизнь. А с клеймом у нас жить плохо...

Бледнолицый смотрит на меня, барабаня пальцами по столу.

— Ну, хорошо, — он пододвигает ко мне стопку бумаги, сверху кладет шариковую ручку. — Мы вас на время оставим, а вы все изложите в письменном виде. О японцах поподробнее. И о своих хабаровских друзьях тоже. Пишите обстоятельно, мы вас не торопим.

Оба встают и уходят. Дверь за ними закрывается, и я с тоской перевожу взгляд на стопку бумаги.

В Хабаровск меня пригласил старый друг Виктор. Мотай к нам, писал он, что ты будешь скучать целое лето в своем захолустье?

Сам Виктор года три как уехал из нашего города в поисках лучшей доли. Он занимался фарцовкой — какие-то импортные вещички перепродавал, магнитофонные записи — и, помню, все жаловался: милиция обложила, надо бежать в большой город, там и нравы помягче, и затеряться проще...

В Хабаровске стояла злая жара. Городские пляжи были полны народу. Виктор поселил меня в очень приличной трехкомнатной квартире. Сказал, что здесь живет его знакомый полковник, начтыла, которого Виктор снабжает импортными шмотками. Вернее, не его, а его жену. Те уехали в отпуск на Черное море, а ключи оставили Виктору. А вместе с ключами — три десятилитровые бутылки со спиртом: начтыла жил на широкую ногу.

Днем мы отмокали в Амуре, а вечером собирались в “моей” квартире вместе с друзьями Виктора. Это были разные люди. Наверное, неплохие, потому что даже по пьяному делу, а пили мы много, они не били друг другу морды, не сквернословили и не раздували сплетен. Пили себе и слушали музыку. Когда музыка надоедала, мы просили Сашку Ружника почитать свои стихи. Стихи у него были потрясающие: злые — и в то же время сложные по форме, насыщенные глубокими смысловыми

оттенками. Не все свои стихи Сашка осмеливался выносить на публику. Поэтому “Ленин”, например, он прочел только нам с Виктором. Доверился. Наверное, потому, что мы сами часто говорили на крамольные темы. Я пересказывал содержание своих рассказов, которые, как я считал, никогда не увидят свет. Виктор с упоением передавал нам информацию, которую услышал накануне по “голосу” — так мы называли программу “Голос Америки”. Поэма поразила нас той смелостью, с которой в ней были изображены и вождь мирового пролетариата, и наша сермяжная жизнь. За такую вещь Сашка мог, без всякого сомнения, схлопотать немалый срок.

А однажды Виктор ворвался в мой трехкомнатный мир и с порога возвестил, что вечером ко мне придут очень интересные гости. Иностранцы.

— Какие иностранцы? — воскликнул я с изумлением закоренелого провинциала.

— Из Страны восходящего солнца. Да-да, брат. Так что будешь готовить ужин, причем по высшему классу. Я пришлю тебе в помощницы прекрасную Люсю... Да, кстати, — Виктор ухмыльнулся в свои большие висячие усы. — Вы с Люсей представитесь гостям как студенты-молодожены. Эта квартира — ваша. Подарок местных властей к вашей свадьбе.

— Как — наша? — еще больше растерялся я. Да разве кто поверит, чтобы студенты жили в такой шикарной обстановке? Тут один гостинный гарнитур чего стоит! Небось, немецкий, а может, чешский — поди разберись, если сроду не видел таких дорогих вещей...

— Сам понимаешь, — Виктор весело хлопнул меня по плечу, — нужно же запудрить мозги джапанам. Дескать, и мы можем жить не хуже вашего.

Я ошалело глядел на своего друга. Высокий, сильный, затянутый по обыкновению в джинсовый костюм, с мочалкой длинных спутанных волос и “хипповыми” усами, он казался мне в ту минуту одним из тех великих авантюристов, от которых постоянно исходит тревога, но без которых нельзя жить, ибо жизнь будет слишком пресной.

— Все, старик, меня такси ждет. Действуй.

Виктор исчез, а через некоторое время в дверь снова позвонили. Ввалилась публика с кучей пакетов и сумок.

— Это жратва, — сказал молодой бородач. — Виктор попросил занести. А это, — он показал на хорошенькую шатенку у двери, — Люся. Ну, мы с Эдиком пошли. Ни пуха ни пера!

Ни этого бородача, ни того, кого он назвал Эдиком, я никогда раньше не видел. Но улыбнулся им на прощание, как старым друзьям. Джинсовая армия. Наверно, такие же, как Виктор, меломаны, фарца. А может, просто алкаши, которых много крутится вокруг денежного Виктора, а он им на выпивку не отказывает, это ведь его друзья по духу, свободолюбцы, пофигисты, нигилисты...

Люся оказалась поварихой расторопной и довольно умелой. Разыскав где-то передник, она прикрепила его на свои голубые джинсики и взялась за работу. Разделав на куски четыре курицы, мы тушили их в двух самых больших кастрюлях, которые нашлись в доме. Мы варили рис, зная, что японцы его любят. Мы делали острый салат из пекинской капусты, которую дружки Виктора принесли с рынка. И много еще вкусных вещей готовилось нами к ночному пиру.

Общий язык мы с Люсей нашли быстро. И уже скоро, чтобы войти в роль молодоженов, стали в шутку обращаться друг к другу “по-семейному”.

— Подай-ка, дорогой, поварешку... А теперь, милый, лаврушку.

— Минутку, дорогая... Слушаюсь, дорогая...

Мне она определенно нравилась. Тоненькая, длинноногая, зеленоглазая, волосы густые, длинные, гуляют по плечам, словно ветер.

Уже и ужин был давно готов, и стол накрыт, а гостей все не было. Чтобы не скучать, мы с Люсей стали потихоньку потягивать вино. Выпьем, выйдем на балкон и подолгу всматриваемся в горизонты города, изредка перебрасываясь негромкими словами. День угасал долго, и это было похоже на угасание лесного костра. От выпитого вина и от того, что рядом была такая девушка, у меня приятно кружилась голова, и я уже без особого нетерпения ждал японцев. А если честно, то втайне даже надеялся, что они не придут, и тогда... Я старался отогнать непрошенные мысли, памятуя об обязанностях, возложенных на меня Виктором, но в груди сладко замирало, когда я косился на нее, задумчиво облокотившуюся на балкон. И если бы гости не явились — как знать, может, меня ожидал бы совсем иной поворот в судьбе...

Они пришли в полночь. Виктор, его подружка Наташка, Саша Ружник и три японца: два маленьких стареющих человечка и один средних лет, здоровый, крепкий, смахивающий на телохранителя.

— Не могли мы раньше, понимаешь, старик! — извинялся Виктор. — Милиция пасла будь здоров. Их же, — он кивнул в сторону японцев, которых наши дамы уже рассаживали за стол, — нужно было из гостиницы вытаскивать. Ну, они-то молодцы, понимают нашу ситуацию. Даже подыгрывали нам в нашем детективе. Так что, кажется, ни менты, ни гэбэшники нас не усекли.

— А разве запрещено общаться с иностранцами? — задаю я наивный вопрос. Виктор смотрит на меня как на сумасшедшего.

— “Запрещено!” — передразнивает он. — Да за это знаешь, что бывает? Всю жизнь на крючке у них будешь сидеть.

Растерянно помолчав, я шепотом спросил, кивнув на японцев:

— А эти — кто такие?

— Сам узнаешь. Только будь пораскованнее, а то наш брат комплексует перед иностранцами, а это выглядит смешно. Кстати, двое из них знают русский, но можешь говорить и по-английски.

Японцы оказались членами делегации, состоявшей сплошь из представителей правившей тогда в Японии либерально-демократической партии. Это были веселые и интересные люди. Двое, те, что поменьше ростом и постарше, русский в самом деле знали, хотя говорили на нем скверно, акцент был, что у испанской лошади. Зато на английском болтали будь здоров. Один из них, с сединой вокруг лысины, представился профессором университета. Другой оказался крупным издателем, владельцем нескольких газет и журналов, то есть, как он сам с улыбкой выразился, капиталистом. “Вам, советским, это, может быть, и не понравится, но я капиталист”.

Третий в иностранных языках был профан. Те двое представили его как шофера и соратника по партии. Воспитанный в духе “осторожно, враг подслушивает”, я никак не мог поверить, что этот здоровяк с черным ежиком — обыкновенный “валенок”, шоферюга. Я даже попробовал его сподручить, чтобы потом разговорить и расколоть. Я поил его почти неразбавленным полковничьим спиртом, но он, дьявол, был крепок, как русский среднестатистический алкаш. Ученые его братья спаивались легче. Они были потрясены нашим столом, особенно когда им сказали, что сей стол соорудили простые советские студенты Леня и Люся. Они были потрясены, как нам показалось и “нашими” хоромами и все переспрашивали нас с Люсей, неужели всю эту мебель, ковры и хрусталь мы купили сами? Сами! — ввали мы. Японцы цокали языками и мучительно, на хмельную голову, вносили коррективы в свои знания о русской жизни.

Эта ложь смущала меня. Думаю, она смущала и моих друзей. Но так уж мы были воспитаны, что чувствовали своим долгом не ронять честь родины. А еще с помощью этого вранья мы пытались избавиться от комплекса неполноценности, чтобы быть с гостями на равных. А как иначе быть на равных, если у тебя даже квартиры собственной нет, если ты никто, просто ноль на этой земле, и никаких перспектив стать когда-нибудь значительной личностью. А эти сидят и убивают наповал своей значительностью: один, видите ли, международную премию отхватил, у другого газеты и журналы читает вся Япония...

По просьбе гостей мы стали петь русские песни. Мы пели, а издатель, достав портативный магнитофончик, нас записывал. Приеду, говорил, домой и буду по утрам включать эти записи в своем офисе, а служащие будут слушать и, может, даже подпевать. Он улыбался и вместе с профессором и здоровяком-шофером подмурлыкивал нам, когда мы, надрывая глотки, старательно выводили очередную песню.

Потом поднялся со стула Сашка Ружник. Высокий, круглолицый, с длинными редеющими русыми волосами, он обвел сидящих за столом посветлевшими хмельными глазами — и вдруг начал читать поэму о Ленине. Крепко выпил — потому и осмелел. Все притихли. Те двое, что знали по-русски, так и напряглись, вслушиваясь. Издатель что-то от-

рывисто бросил по-японски шоферу, и тот с раскрытым ртом тоже уставился на Сашку. Иногда японцы, вежливо улыбаясь, просили пояснить ту или иную строчку. Сашка пояснял. А когда дочитал до конца, японцы некоторое время сидели в раздумье, а потом зааплодировали.

Хорошо, — сказал издатель, — очень хорошо и... необыкновенно. Эту поэму я тоже записал на магнитофон, и мои сотрудники будут ее слушать. Можно? — спросил он Сашку. Можно, — ответил тот. А напечатать это можно?.. Сашка от неожиданности столбенеет. Можно...

Мы разлили еще по рюмкам — за поэму. Японцы стали спрашивать, чем мы занимаемся. Мы рассказывали о себе. Иногда говорили правду, иногда безбожно ввали. Но разве мог тот же Виктор сказать японцам, что они с Наташкой фарцуют? Мы, говорит, специалисты в области торговли. Хотя свое ремесло они, не выдержав искушения, все же продемонстрировали. Я слышал, как Виктор нашептывал Наташке, чтобы та присмотрелась к часам на руке издателя. И та, наконец, ринулась в атаку. Сняла со своей руки старые задрипанные женские часики и протянула их издателю. Мол, презент. И многозначительно посмотрела на сверкающие новизной роскошные “Сейко” японца. Бедняге ничего не оставалось, как с любезной улыбкой снять свои часы с руки и протянуть их Наташке. На добрую память? — кокетливо спросила она. На добрую память, — галантно закивал японец, масляно поблескивая черными глазами на светловолосую пышногрудую Наташку.

Тут меня словно кто в бок толкнул. Я повернулся и поглядел на свою “молодую жену”, о которой совсем забыл в ажиотаже своего первого в жизни общения с иностранцами. Люся сидела, откинувшись на спинку стула, устало улыбаясь, и в ее больших зеленых глазах тонуло ночное затянувшееся веселье. Мне захотелось вдруг шепнуть ей на ухо: а пойдём-ка опять на наш балкон, но тут опять на своем скрипучем русском языке заговорил издатель.

Кто-нибудь еще из вас пишет стихи? — спросил он. Сашка указал на меня: вот он пишет прозу. Э-э, романы? — спросил японец. Нет, — ответил я, до романов дело не дошло, пишу рассказы. Это интересно, сказал издатель. У вас есть книги? Мы рассмеялись. Его книг, как и моих, сказал Сашка, никогда не издадут, потому что мы пишем не то. Японец показал, что понимает, о чем речь, и сокрушенно покачал головой. Все, что пишется, пишется для людей, серьезно заметил он, и потому должно быть напечатано.

Может быть, когда-нибудь и придет время, грустно говорю я. А вы пришлите мне что-нибудь из ваших произведений, неожиданно предлагает издатель. Возможно, мы напечатаем.

Наши письма к вам не доходят, серьезно заявляет Сашка. У меня за границей много друзей, но ни одно мое письмо к ним не дошло.

Издатель улыбается. У вас... — он старается подобрать более мягкое выражение, — очень сильная бюрократия. Я знаю, ваши письма не до-



ходят... Нужно, — он показывает жестом, что нам нужно в данном случае сделать. Из рук в руки, — подсказывает ему Виктор. — Да, из рук в руки, — улыбается издатель. — Мы можем сделать так, — продолжает он. — Кто-то из моих друзей приедет в Хабаровск, и вы ему передадите свои стихи и рассказы. Хорошо?

Японцы на всякий случай вручили нам свои визитные карточки, а мы написали в их блокнотах свои адреса. И застолье продолжилось. В конце концов двое маленьких японцев упились в усмерть, и мы положили их на кровать. Третий не сломался и пил с нами до утра — молча и с видимым удовольствием. А утром как ни в чем не бывало сгреб в охапку своих товарищей и потащил их на свежий воздух.

А я хватился, что Люся исчезла, и запоздало засуетился. Домой ушла, — пожал плечами Виктор на мой вопрос. Как домой? — не понял я. Ну, ты даешь, старик! — хохотнул Виктор. — Никак, глаз положил? — Но на моей пьяной физиономии, видимо, было написано такое неподдельное отчаяние, что он виновато вздохнул. Она же занята, старичок! — Как занята? — Да так. Ее парень — мой друг. Уж извини, спектакль наш окончен, свечи гаснут. Давай-ка лучше вздремнем...

Потом мы встретились с японцами еще раз — в гостинице, где останавливалась их делегация. Теперь уже они угощали нас выпивкой. Люси с нами не было. Скорее всего, Виктор отговорил ее приходить, опасаясь, что я, раздираемый пьяной влюбленностью, мог выступить не по делу. Наверное, он был прав. Но японцы заметили ее отсутствие. Где ваша очаровательная жена? — спросил издатель, с улыбкой высыпая пригоршню соли в мою рану. Она... — я облизал вмиг пересохшие губы, — она занята...

В тот же день мы с Виктором, Наташкой и Эдиком ездили на вокзал провожать наших новых друзей. Чтобы не привлечь к себе внимания наверняка крутившихся по перрону чекистов, мы стояли поодаль и молча смотрели на окна поезда "Хабаровск — Находка", из которого обильно торчали темные калганы японцев.

Грустными были лица моих товарищей. А мне вдруг стало так горько, что слезы выступили и в груди сдавило. Я чувствовал себя так, словно меня в чем-то обделили, обманули, обокрали. Мысли путались и мешались в хмельной голове... Но я и по сей день не знаю, что было причиной моих внезапных слез на перроне. Может, эта несчастная любовь, которую я скоропалительно вообразил себе по пьяной лавочке, а может — унижение от того, что мы, словно какое быдло, не имели даже права подойти к поезду и попрощаться с уезжающими друзьями, — да что там, мы даже мечтать не могли когда-нибудь снова с ними встретиться, словно они не в соседнем государстве жили, а прилетали к нам из далеких миров, до которых добраться нам нет никакой возможности...

Я сижу, обхватив голову руками. Что писать? А если не стану писать — неужели не отпустят? Что-то я не слыхал, чтобы гэбэ последнее время кого-то арестовывало в нашем городе. А может, я просто ничего не знаю? Твердят же заграничные радиоголоса о каких-то узниках совести, которых гэбисты сажают в тюрьмы или ссылают в медвежьи углы. За что их судят, этих узников совести? А вдруг, как в тридцать седьмом, идет подтасовка фактов — и им предъявляют всякие бредовые обвинения... Если так, то и меня могут обвинить в том же шпионаже. Встречался с иностранцами — значит, шпион.

А что, если написать — но не все. Утаить детали. Конечно же, я ни за что не напишу про поэму Сашки Ружника, которую он надиктовал на магнитофон японского издателя. И про уговор передать японцам наши рукописи тоже умолчу. А больше ничего такого и не было. А что мы ввали джапанам, будто квартира принадлежит студентам-молодоженам — так это даже патриотично! Напишу — и меня отпустят. Предупредят, конечно, чтобы я больше не имел дел с иностранцами — и с миром в дверь... Боже, как это хорошо, оказывается, — быть свободным человеком! Мне вдруг пришло в голову, что моей литературной идеей в будущем должна стать идея свободы, которая превышает всего на свете, превышает всех благ, привязанностей и даже самой любви. Да, свобода — категория относительная, а не абсолютная. И тем не менее нужно постоянно бороться хотя бы за эту относительную свободу...

Не знаю, сколько времени я просидел один в кабинете, но, думаю, немало, потому что когда бледнолицый вернулся, он был раздражен тем, что я не написал ни слова.

— Ну, знаете, Леонид Викторович, так дело не пойдет. Мы-то к вам по-хорошему...

— Извините, я... я задумался. Я никогда не писал подобного...

Наверное, я уже боролся за свою свободу. Я осознавал, что за нее можно бороться по-разному. Можно проявить мужество и волю, а можно трусливо сподличать, чтобы выйти сухим из воды. Второе проще, а потому, борясь за свободу, ой как легко стать подлецом...

— Вы будете писать? — неожиданно жестко спросил бледнолицый. Видимо, это была уже угроза. У меня похолодело в груди.

— Если позволите, я напишу обо всем дома. Там... легче.

Бледнолицый сел за свой стол, задумался.

— Надеюсь, ничего не утаите? — спросил он наконец.

— Ничего...

— Наша фирма достаточно серьезная. Если вы вздумаете поиграть с нами, вам это выйдет боком. Вы меня поняли?

Чувство свободы уже заполняло мою грудь.

— Так вы поняли?

— Да, конечно, понял...

Мишка Кореец появился у меня в один из воскресных дней. Обычно по воскресеньям я редко бываю дома, но он, видимо, меня вычислил. Старый мой знакомый, в школе учились в параллельных классах. После школы меня забрали в армию, а он как-то открутился, поступил в институт, который уже почти заканчивал к тому времени, как я вернулся из армии.

Кореец — это была не просто уличная кличка Мишки, он на самом деле был по национальности корейцем. Красивый такой азиат, статный. Говорили, языки знал — наверное, потому его и пригласили после института в КГБ. Я как-то слышал, что туда приглашали или хороших специалистов, или усердных стукачей. Мишка, я думаю, был все-таки специалистом.

Разговор наш он начал с того, что попытался подкупить меня откровенностью. Причем откровенностью высшей пробы. Взял да и назвал мне парочку фамилий тех моих друзей, которых я обязан, как он сказал, опасаться. Стучали они на меня. Естественно, я был ошарашен: вот так, веришь людям, а они... Но зачем Корейцу понадобилось выдавать их? Не мог ведь работник КГБ явиться ко мне домой только ради того, чтобы сдать своих осведомителей.

Побродив по моей комнате и оглядевшись, Кореец вдруг присел за мой письменный стол, вставил в новенькую пишущую машинку “Москва” лист бумаги и стал одним пальцем отшлепывать по очереди каждую букву.

— Зачем ты это делаешь? — спросил я.

— Понимаешь, — не смутившись ответил он, — я тоже недавно купил себе точно такую же. Хочу сравнить, какая лучше печатает.

Вот тебе и вся откровенность, — невесело усмехнулся я про себя. — Теперь и моя машинка на крючке у гэбэ.

Потом Мишка сказал, что случайно познакомился с моей объяснительной, той самой, которую меня заставили написать.

— Молодец, написано классно. Вроде что-то и изобразил, а читаешь — ну нич-чего, что заинтересовало бы нашу фирму. Классно, брат, классно... Хотя, — он доверительно понижает голос, — мы-то знаем, что все, тобой написанное, — туфта. Мы по своим каналам уточнили. Все было не так. Ты просто не хочешь, чтобы у твоих друзей были неприятности.

Кореец смотрит на меня хитрыми раскосыми глазами. Я, помедлив, спрашиваю:

— Скажи, Миша, ты ко мне пришел как кто — как гэбэшник или как старый школьный товарищ?

— А ты как думаешь? — улыбается он.

— Думаю, как школьный товарищ, — отвечаю бесстрастным голосом. Мишка на секунду задумывается.

— Скорее всего, так, — кивает он. — Знаешь, Леня, скажу тебе прямо: ты вляпался в паршивую историю. Ты нажил себе такой хвост, который будет волочиться за тобой всю жизнь.

— Но что такого я сделал? — возмущенно восклицаю я. — Подумаешь — переброеился парой слов с иностранцами!

— Э-э, брат, тут не пара слов. Мы-то знаем... — он многозначительно смотрит на меня. — Послушай, не храни греха на душе. Расскажи все. Хоть мне, старому товарищу. А мы потом вместе придумаем, как быть. Иначе... — он делает скорбное лицо, — тебе, брат, хана...

— Меня... посадят? — спрашиваю я.

Кореец молча кивает.

— Но я же ничего преступного не делал! — чувство отчаяния и бессилия овладевает мной.

А Кореец, как ни в чем не бывало, вставляет в машинку новый лист бумаги и снова что-то печатает одним пальцем. На его лице странная улыбка.

— Ты, говорят, рассказы пишешь? — вдруг спрашивает он.

— Пишу, — сквозь зубы отвечаю я.

— Наверное, мечтаешь стать свободным художником? — стуча по клавишам, хмыкает Кореец. — Знаешь, есть такой анекдот. Идет по улице свободный художник, а по бокам два искусствоведа... в штатском... — И, не дожидаясь моей реакции, начинает смеяться так, будто сам впервые услышал эту остроту. — Ну, дошло до тебя? — спрашивает, утирая проступившие от смеха слезы. Я кисло улыбаюсь.

— А дай-ка мне почитать что-нибудь из твоих рассказов, — отсмеявшись говорит Мишка. — А то неудобно как-то: мой старый школьный товарищ выходит на литературный Олимп, а я даже не знаю, о чем он пишет... Нет, но разве мог я подумать, что ты станешь писателем? Ты же спортом увлекался, я думал, ты по этой части и пойдешь.

— Да какой я еще писатель, — пробую я уйти от этой темы. — Об этом вообще не стоит говорить.

— Ну, не хочешь, не надо. Я-то ведь искренне... Как человек, интересующийся литературой. Кстати, — он снова берет доверительный тон, — если хочешь, я дам почитать одну интересную книжонку. Она, между прочим, издана не у нас, а... там. Это воспоминания Светланы Сталиной.

Я посмотрел на него настороженно.

— Что смотришь так? Я в самом деле принесу эту книгу. Если, конечно, ты ее — никому... Ну, сам понимаешь.

— Ты же знаешь, что это... — он снова берет доверительный тон.

Когда он на следующую нашу встречу действительно принес обещанную книгу и когда я ее прочитал — у меня все спуталось в голове, я окончательно перестал понимать, кто такой для меня Кореец — просто школьный товарищ или контрразведчик, жаждущий вытянуть из меня подноготную.

А он продолжал вести свою непонятную игру. Однажды пригласил

меня на загородный пикник и прямо сказал: будут мои друзья из управления, ты их не смущайся, ребята отличные. Я поехал. Мы жарили шашлыки, пили, играли в футбол. Никто со стороны и не подумал бы, что это не просто молодые люди, а чекисты, и что этот красивый азиат не просто веселится, а продолжает, как мне думалось, свою кропотливую профессиональную работу.

Только я никак не мог понять, что означают все эти его ходы. Я вообще не мог понять, в какую игру мы играем. Единственное, что я понимал: в этой игре есть кот и есть мышь. Задача кота была съесть мышку, и наоборот, мышь должна была за короткое время поумнеть, чтобы не попасть в лапы хищнику.

Знаешь, — мог этак запросто поделиться со мной Кореец, — из центра пришла директива, чтобы мы усилили борьбу с происками зарубежных разведок, так что, брат, будь готов, уже составлены “черные” списки...

А то вдруг начинал говорить про инакомыслящих, про их попытки очернить наш строй. К таким, говорил Кореец, государство будет беспощадно. Ты вот пишешь — смотри, не напиши чего такого...

Он меня стращал. Удары сыпались один за другим — наверное, для того, чтобы я не успевал очухаться. Я понимал, что Кореец все это предпринимает не сам по себе — кто-то стоит за его спиной... Потом он стал просить меня снова и снова изложить на бумаге все, что произошло со мной в Хабаровске. И я писал, писал... Они там, видимо, брали в руки мое очередное объяснение и сличали его с самым первым. Но я помнил первый текст наизусть и повторял его с точностью копирки.

Однажды Кореец надолго исчез, и вместо него мною стали заниматься сразу двое гэбистов. Я снова что-то рассказывал, писал, снова мне давили на психику, запугивая и рисуя страшные перспективы. В конце концов я понял, что либо сойду с ума, либо все-таки совершу подлость... Был и третий вариант — уйти... И я стал думать об этом все чаще. Не может человек вечно бороться, не видя впереди выхода к свету. У меня выхода, кажется, не было.

И тут снова возник Кореец. Произошло это в тот момент, когда мои силы были уже на исходе. Он сразу определил мое внутреннее состояние, а потому заговорил совершенно откровенно:

— Леня, ты у нас натура романтическая. Не спорь со мной — каждый писатель в душе романтик. А в мире, между прочим, много романтических профессий. Не хочешь попробовать себя в одной из них?

— В какой?

— Ну, допустим, работая на нас... Разведка, контрразведка — что может быть романтичнее?

Я онемел.

— Знаю, у тебя сейчас на душе черт те что, — сказал Кореец, удивительно хорошо ориентируясь в моем внутреннем мире. — Но, Леня, ты ведь молодой. Надо жить. И не только для себя, но и для общества. А

общество — это люди. Понимаешь — простые наши люди. Над которыми сегодня нависла опасность.

— Какая опасность? — не понял я.

Сегодня все острее вероятность новой мировой войны, — как по писанному чесал он. — Капитализм делает последнюю попытку выжить. И эта попытка — ставка на войну. Для подготовки ее он включил на полную мощность свою пропагандистскую машину. Хочет изнутри нас разложить. И ведь получается у него! И все благодаря этой слабовольной сволочи, которая радиоголоса слушает, книжонки запрещенные почитывает — а потом язык распускает. Мы, конечно, принимаем меры... Но нам одним все не под силу. Нам нужны помощники. Короче, дружище... — Кореец перевел дух. — Я предлагаю тебе сотрудничество. Писатель — это в первую очередь патриот. Ты должен на практике воспитать в себе настоящего патриота, тогда и писателем станешь классным.

Он подался ко мне вплотную, понизил голос:

— Понимаешь, если ты поможешь нам — мы поможем тебе. Я имею в виду твое творчество. У нас ведь везде свои люди — и в издательствах тоже. Откровенно тебе скажу: многие в нашей стране стали профессиональными писателями только благодаря нам. Вот так-то...

Я был убит наповал: неужели это правда?.. Перед глазами возникла целая галерея людей, на которых я готов был молиться. Гордость русской литературы. Неужели все они... Нет, в это невозможно поверить! Может, все обстояло по-другому? Может, эти люди, чтобы выжить, просто напроосто вели свою игру? Тогда, может, и мне стоит начать свою игру? До разумных, конечно, пределов, чтобы не оступитья и не увязнуть в дерьме.

А игра будет серьезной — я не сомневался. Что-то они там затевали. Может, думал я, хотят использовать в каком-то грязном деле, а потом, выжав из меня все, выбросят на помойку, как пустой молочный пакет?..

— Миша, я согласен... — я сделал паузу, будто собирался с духом. — Но только при условии, что мне не придется никого предавать. Мой отец говорит: кто предал, то совесть уже не купит.

— Кто продал, тот купит, — еле слышно прошелестел пухлыми губами Кореец.

— Что?

— Да это я так!.. — он улыбнулся, хлопнул меня по плечу. — Не бойся, никого предавать не придется. Наша фирма с предателями дел не имеет. У нас все основано на негласном кодексе чести. Понятно?

Я пожал плечами.

Теперь Кореец стал встречаться со мной не у меня дома, а на каких-то, неизвестно чьих, квартирах — то в одном конце города, то в другом. Сказал: так надо, это особенность нашей работы, когда-нибудь посвящу тебя в детали...

На первых порах наши беседы носили, как мне казалось, совершен—

но отвлеченный характер. Он спрашивал, с кем я дружу, с кем общаюсь, есть ли у меня знакомые за границей. Я честно ломал голову, вспоминая, есть ли у меня знакомые “за бугром”, и не мог вспомнить. Ну, а евреи — те, кто уехал в Израиль — таких знаешь? — допытывался Мишка. Не знаю, говорил я. Но тут я обманывал. Несколько лет назад в “землю обетованную” уехала семья Кружанских, с которой мои родители были в неплохих отношениях, — но гэбисты этого, очевидно, не знали. И пусть, думал я, не знают, не такое уж они, выходит, всевидящее око, за которое себя выдают...

Наконец он назвал имя Марка Фельдмана, известного здешнего музыканта. О Марке я слышал: говорили, что он классный джазовый трубач, таких в городе больше нет. Когда он работал в филармонии, люди специально ходили его слушать. Но лично я его никогда не видел.

— Нет, — говорю, — я его не знаю.

— И даже не слышал о нем?

— И даже не слышал.

— Стыдно, брат. Культурную жизнь города надо знать. Тем более писателю.

Я молчу.

— Понимаешь, — Кореец вздыхает. — Это очень скользкий тип. Конечно, музыкант он неплохой, работал в филармонии, но потом по нашей ориентировке его оттуда уволили. Сейчас в заводском клубе на танцах трубит... Так вот, нам стало известно, что Марк Фельдман посещает тайные сборища местных евреев.

— Тайные? — не понимаю я.

— Именно тайные. Собираются вечерами то у одного, то у другого, и чешут языки.

— О чем хоть чешут? — любопытствую я.

— Кабы знать, о чем, — вздыхает Кореец. — Хотя кое-что до нас, естественно, доходит.

Неужели евреи евреев сдают? — думаю я. — Если так, то мерзость людская безгранична. А благодаря ей и гэбэ всеильно.

Кореец внимательно смотрит на меня, усмехается.

— А в тебе, Леня, и правда пропадает разведчик. Вижу: тебе хочется знать, о чем там евреи говорят. Ну скажи, ведь хочется?

— Хочется, — подыгрываю я ему. Хотя мне и в самом деле интересно, о чем могут говорить на тайных собраниях.

— Я тебе скажу, о чем они говорят. В общих чертах, конечно. А говорят они о притеснениях евреев в нашей стране. Ты понимаешь — о притеснениях! Да кто их у нас притесняет?

— Ну, а что же Фельдмана уволили? — не удержавшись, подкалываю я.

— Я же говорил... — На лице Корейца признаки раздражения. — Он один из зачинщиков тайных собраний евреев.

— И за это увольнять?

Кореец напряженно улыбается.

— Ты хочешь поймать меня на противоречиях? — помолчав, спрашивает он. — А противоречий, Леня, никаких нет. Есть политика государства. Кто к нему с добром, к тому и оно с добром. А не хочешь жить нормально — получай свое... Ты пойми, государственная жизнь — штука серьезная, даже азы ее усваиваются не сразу. Но когда ты эти азы усвоишь, ты будешь думать по-государственному. Значит — станешь нашим.

Я смотрю на него вопросительно.

— Не понимаешь, что значит “нашим”? Наши — это те, кто держит государство на своих плечах.

— То есть, я пока что не человек государства?

— Совершенно верно. У нас, как у масонов, — чтобы стать кем-то, нужно пройти испытания.

— Но ведь нам талдычат, что государство — это мы, простые люди.

— Талдычат... — усмехается Мишка.

— Значит, врут?

Он морщится.

— Есть ложь, которая во благо. Ты пойми: не станешь же говорить людям, что они всего лишь винтики в большом механизме, букашки мелкие. Представляешь, что будет?... Ну, а на самом деле народ и есть мелкие букашки. Это не государство. Государство — это система, которая держит всех букашек в кулаке и не дает им своевольничать. Иначе от государства останется пшик. Они, эти насекомые, просто сожрут его, как дохлого барана. Может, это звучит цинично, но ты писатель, человек умный, ты поймешь...

Потом мы вернулись к разговору о Марке Фельдмане.

— Ты сможешь нам раскрутить этого музыканта, — в лоб заявляет Кореец. — Это и будет твое первое государственное задание. Помни, — тут же предупреждает он, — у тебя ситуация очень хреновая, и ты должен доказать, что ты не тот, каким тебя представляют в нашей фирме.

Холодный пот покрывает мое тело.

— Что я должен делать? — спрашиваю не своим голосом.

Кореец вдруг сбрасывает маску “государственника”, расплывается в дружелюбной улыбке.

— Вот так бы и давно. Вижу, вижу, созрел...

И начинает меня инструктировать. В деталях обрисовывает мне человека по фамилии Фельдман, сообщает о его привычках и наклонностях, указывает, где именно я могу с ним встретиться, предлагает варианты знакомства:

— Ты, Леня, человек общительный, а он в знакомствах не слишком разборчив. Но ты все же слишком-то не напирай, все должно быть естественно. Когда сойдется поближе, больше ворчи на судьбу. Дескать,

хреново живем, зажимают... Он должен клюнуть. Если сразу не клюнет — продолжай помаленьку в том же духе и жди, когда он созреет. А когда почувешь, что он начал откровенничать, — вот тогда и пойдет настоящая работа.

Я понимаю, что меня толкают на провокаторство. Пробую было заикнуться об этом — но Кореец неумолим.

— Наша работа часто заставляет нас быть довольно авантюрными людьми. Только не путай авантюрность с авантюризмом... А вообще, для нас все средства хороши, если ведут к нужному результату.

— Все средства? — я качаю головой.

— Все. И человек, который начинает с нами работать, должен это знать.

В эту ночь я не сомкнул глаз. У меня, видимо, повысилось кровяное давление, поэтому болело сердце и давило в висках. Город давно уснул, за окнами не слышно было ни автомобилей, ни шагов.

Что они хотят из меня сделать? Подонка? Или “государственника” в том понимании, которое имеет на сей счет Кореец?.. Да что там Кореец — ведь его мысли — это мысли тех, кто им руководит. Он просто отрабатывает зарплату.

Корейцу все же легче: он работает за совесть, а еще за деньги. Я же буду помогать им только из-за страха. Ведь я боюсь за собственную жизнь, а эти готовы на все. Я испугался. Стыдно, мерзко — и лучше бы подохнуть, как собаке, но что-то еще удерживает меня на этой земле... А ведь сейчас именно такой момент, чтобы сделать благородное дело. Можно написать предсмертную записку, чтобы всем стало ясно, почему я ушел, и тогда обо мне не будут думать, как о подонке и, может быть, помянут добрым словом.

Но помянут ли? Этот вопрос мгновенно подавил во мне желание умирать. Я знал, что есть люди — и, наверное, немало, — которые равнодушно или даже с презрением отнесутся к моему уходу. Ведь они работают на Корейца и его хозяев, а значит, они уже из других координат человеческой морали. С них все началось, это они выкрали у меня те несчастные визитки. Сволочи! А я считал их друзьями... Теперь у меня не было друзей. Я просто вычеркнул их из своей жизни. Не только тех двоих, которых назвал мне Кореец, а всех. Конечно, не все они работали на гэбэ, но мне начало казаться, что честных друзей уже не существует...

И вот настала моя очередь превратиться в подлеца. Но неужели нет другого выхода? Я не раз прежде попадал в беду, но всегда находил возможность выпутаться. Я тонул, я попадал в армии под танк, в меня стреляли, меня жестоко били... А тогда этот Гоша Мрак... Обкуренный, сумасшедший, стоял передо мной, приставив к горлу нож. Веришь, убью?

— шипел прямо в лицо. А я вдруг спокойным голосом сказал ему, что на днях помог его слепой матери перейти улицу. Это было на самом деле, и я об этом сказал. Гоша опустил нож.

Но теперь — иное дело. Тут уж не разжалобишь никого. Мой нынешний враг беспощаден, ему нужна моя кровь, нужна кровь тех, кого я должен буду выдавать.

В комнате было тихо, как в покойницкой, и в этой тишине особенно яростно бушевали мои мысли...

Надо сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, — вдруг пришло мне в голову. Я поднялся и сел на постели, лихорадочно обдумывая эту неожиданную мысль. Надо разработать сценарий, да-да, очень продуманный сценарий — и спокойно, как можно спокойнее, сыграть роль. Ни с каким Марком Фельдманом я, конечно, знакомиться не буду. Я просто придумаю наше знакомство, я придумаю наши встречи, диалоги и монологи, в которых комар носа не подточит — никакой в них не будет антисоветчины. Я попытаюсь спасти от беды и себя, и этого незнакомого мне трубача, который, если все сойдет благополучно, ни о чем даже и не узнает. Но ведь добро делается не для того, чтобы за него благодарили.

Однако этого Фельдмана надо хотя бы разок увидеть, чтобы почувствовать его жизнь, жизнь человека, о котором мне предстоит придумать легенду.

Не помню, сколько потом я потратил дней в поисках Фельдмана, но случилось так, что я его не нашел. Может, не очень-то и хотел найти, но во всяком случае я его так никогда и не увидел. Вначале как-то не удавалось, а потом уже было поздно: я его сам сочинил. На условленную встречу с Корейцем я шел, внутренне готовый складно врать, хотя и не без страха быть разоблаченным: вранья мне, конечно же, не простят. Кореец был насторожен и внимателен.

— Познакомился? — сразу в лоб спросил он.

— Да, — ответил я.

— Где?

— В филармонии.

— Но ведь Фельдман там уже не работает! — На лице его удивление — но я к этому готов.

— Не работает... Да, видать, не может мужик без филармонии. Тянет его туда.

— Так... А с кем он в филармонии встречается?

— Насколько я понял — ни с кем. Специально заходит, когда там никого нет. Постоит в фойе, посмотрит вокруг — и в дверь... Переживает.

Кореец минуту молчит, пережевывая первую ложку информации. Затем щурит свои восточные глаза:

— Поехали дальше. Как вы познакомились?

Внутри у меня все холодеет, но я набираюсь духу, говорю:

— Да в общем-то оно само собой вышло. Марк попросил у меня прикурить. Там, в фойе филармонии.

— И?

— И я сказал, что его лицо мне знакомо.

Кореец растягивает толстые губы в одобрительной улыбке:

— А он?

— Ну, а он хмыкнул так... польщенно, что ли. Говорит: я Фельдман, джазовый трубач. Я, конечно, глаза сделал по семь копеек: ка-ак, мол, сам Фельдман? Извините, говорю, только из зрительного зала, на сцене только вас видел. Ну, соответственно, комплимент ему: мол, музыкант вы классный. Он плечом дернул, будто с досадой, а вижу: ему приятно. А когда я представился ему начинающим прозаиком, он вообще оживился. Так и разговорились.

Кореец хлопает меня по плечу. Он доволен — и уже знает, что довольными будут и его хозяева.

— А сейчас давай-ка в деталях — о чем вы говорили.

— В деталях? Попробую... — я делаю паузу, будто припоминаю. — Во-первых, надо сказать, что в филармонии мы пробыли недолго. Фельдман предложил мне прогуляться по улице.

— Так, — кивает Кореец. — Противник у тебя не дурак, знает: и стены имеют уши. Дальше?

Я соображаю, что он из каждого даже пустячного моего замечания будет стремиться выудить нужную ему информацию. Стараюсь следить за своей речью, тщательно подбираю слова.

— Потом мы прогулялись. До автобусной остановки я его проводил, да там еще постояли... Говорили, в общем, мало. Пытались надышаться последним осенним теплом. Денек хороший выдался, красиво кругом, листья шуршат...

— Давай без лирики, — морщит нос Кореец. — Не роман пишешь.

Я злорадно усмехнулся про себя: знал бы ты, что это и есть самый настоящий роман. Господи, как я его ненавидел!

— Дальше, Леня, дальше!

— Ну я спрашиваю Марка... — пытаюсь справиться с нахлынувшими на меня смешанными чувствами злобы и отчаяния. — Я спрашивал, чем он занимается, почему ушел из филармонии.

— Хорошо. А он?..

— Сказал, что его жена была недовольна тем, что он часто ездил на гастроли, дома бывал мало. — Я сказал о жене — и с ужасом стал ждать реакции Кореяца. А вдруг у Марка нет жены? Я совсем забыл, говорил ли мне что-нибудь на этот счет мой инструктор. Но он заулыбался:

— Ирина Игоревна Фельдман. Значит, ей не нравилась работа мужа? А может, он темнит? Кстати, она русская, и тебе бы нужно подобрать и

к ней ключик. Познакомиться, подружиться... — Кореец делает ладонью плавный жест и при этом масляно улыбается. — Женщина она интересная, так что дерзай.

Я молчу, подавляя в себе новый приступ злобы. Какое право имеет он заставлять меня вторгаться в чужую семью? Впрочем, что ему до чужой семьи, до чужой беды... Все средства хороши...

— Продолжай, — командует Кореец. И я продолжаю пересказывать выдуманный разговор. Кореец ненасытен: он снова и снова возвращается к деталям, учит меня, как сделать собеседника словоохотливым, дает задания и советы на будущее... В конце концов я чувствую себя загнанным и прошу пощады.

— Что, устал? — довольный своей работой, улыбается он. — Привыкай, брат, это тебе не рассказы писать.

Я долго потом переживал в душе тот день, когда начал большую игру с Корейцем. Почти не ел, осунулся, ходил как прибитый. Меня спрашивали, что случилось, я отвечал какую-то ерунду — и все думал, думал. С нестерпимой отчетливостью я сознавал, что у меня начиналась совершенно новая, жуткая по своей сути жизнь, где я был уже не я. Меня насильно ввергли в иное измерение, и я барахтался там, как таракан в банке с водой, не имея возможности выбраться.

Потом были новые встречи с Корейцем. И это были новые главы моей устной книги о вымышленном герое, которого гэбэ воспринимало как реального Марка Фельдмана. Моя работа складно врать была опасной и напряженной. Я не должен был переигрывать и ошибаться.

На встречи вместе с Корейцем стали приходиться какие-то новые гэбисты. Я их боялся, думая, что они высокие профессионалы, не чета Мишке, и легко могут меня разоблачить. Но они, кажется, верили мне. Они тоже давали мне задания, заставляя встречаться все с новыми людьми, у которых я мог разузнать что-то о Фельдмане. Каждый новый человек — это новый “персонаж”. И я придумывал его и разговоры с ним. И ждал, когда же, наконец, меня выведут на чистую воду. Ну, не идиоты же они, в самом деле! Впрочем, быть может, они давно поняли, что я им вру, только не показывают виду? Нет, так долго длиться не может. Схватят меня за язык в один прекрасный день.

Однажды мне показалось, что этот день настал. На встречу в явочной квартире какого-то обшарпанного двухэтажного дома Кореец явился не в меру серьезным и деловым. С ним был пожилой чекист с ежиком седых волос. Все, подумал я, это конец. Заныло сердце.

— Леонид Викторович, — хриплым голосом сказал мне седой. — До сих пор наши отношения строились, скажем так, на любительской основе. Не пора ли нам переходить на основу профессиональную? У нас ведь, как в хоккее, — он вдруг улыбнулся, обнажив большие прокурен-

ные зубы, — тоже есть и любители, и профессионалы. Так вот, мы удовлетворены вашей работой. Давайте займемся с вами серьезно.

Меня обожгло. Что значит “серьезно”? А до этого что было? Испытательный срок? Боже, но ведь я же не мог пройти его благополучно. Я же не выполнил ни одного их задания. Я ведь только врал им!..

— Как вы смотрите на то, чтобы подписать с нами, говоря гражданским языком, трудовое соглашение? — спросил седой. Я онемел. Растерянно посмотрел на Корейца. Тот этак по-свойски подмигнул мне: дескать, соглашайся, ты ведь уже наш...

Но я понимал, что если сейчас подпишу с ними некий контракт, то до конца своих дней останусь их рабом. Хотя... они и без всякого контракта будут использовать меня на всю катушку. Что для них какая-то бумажка...

У меня, видимо, был жалкий вид, и седой поспешил на помощь:

— Да вы не волнуйтесь. Вам же не хирургическую операцию предлагают. Это формальность, хотя и необходимая. Работа-то у нас государственная.

Он подсовывает мне бумагу и шариковую ручку. Я делаю последнюю попытку отвертеться.

— Неужели это... обязательно? — проговариваю заплетающимся языком. — Ведь я и без бумаг работал... Позвольте мне и дальше... без бумаг.

— Нет, — твердо говорит седой. — Нужно ваше письменное согласие работать с нами. Так принято.

— Может, все-таки не надо?.. — В моем голосе нет надежды, одна жалкая мольба.

— Пишите. — И он начинает диктовать. — Я, Соколов Леонид Викторович, добровольно соглашаюсь сотрудничать с органами государственной безопасности. Обязуюсь работать добросовестно и честно. Свою информацию, изложенную в письменном виде, буду подписывать псевдонимом... Давайте-ка, Леонид Викторович, вместе придумаем вам псевдоним. Седой сверлит меня тяжелым взглядом. — Может, Студент, а? Прекрасный псевдоним для молодого нештатного работника. Что скажете?

Да черт с вами, сволочи, — обессиленный, думаю я. — Давайте, глумитесь. Думаете, вы победили? Дудки! Ну, подпишу я эту хреновину — что изменится? Я же все равно буду продолжать вам врать. Неужели вы решили, что я подлец и стану шпионить за людьми?..

В моем лице, наверное, ни кровинки. Я дрожащей рукой тянусь к шариковой ручке — и начинаю писать то, что мне велят.

В последнее время хожу с ощущением того, что меня искупали в дерьме. Я даже чую запах этого дерьма. Как будто снова оказался в этой

проклятой Сычевке, где в прошлом году в составе дикой армянской бригады работал на строительстве сельской школы. Армяне наняли нас, студентов, чтобы мы сделали за них дурную работу: пробили в стенах отбойным молотком дыры под сантехнику. Мы рвали пупы и материли тех, кто не додумался заранее эти дыры предусмотреть, еще когда закладывался фундамент и возводились стены. Вот так везде у нас — сначала сделают, потом думают.

А когда мы пробили дыры, нас заставили рыть выброс. И здесь все было организовано по-дурацки: ни техники, ни умной мысли спеца. Одни лопаты да наш молодой энтузиазм, подогреваемый начальственным обещанием хорошо заплатить. Нас, естественно, надули. Вычли из заработка кучу денег за хилую жратву, да еще сказали, что мы остались должны государству.

Но мы-то ладно. Рядом на строительстве водонапорной башни работали вовсе замордованные люди — условно-досрочно освобожденные зеки, или “химики”. Мы что-то требовали, протестовали, а им — попробуй! Пикнешь — вновь на зону отправят. “Химики” жили в длинном летнем бараке, напротив нашего. У нас были с ними общие умывальники и сортир. И вот этот сортир...

Первый раз я не понял, отчего такой стон стоит, когда толчки занимают условники. Ревут мужики по-медвежьи — и все тут. А из сортира выходят — еле ноги волочат. Взойдешь на толчок, глянешь — а вокруг кровищи! Да что же они, дьяволы, здесь делают, отчего столько стона и крови, будто в операционной?

А ты глянь в дыру и поймешь, — посоветовал мне один всезнающий кореш. На следующее утро я глянул и едва не вскрикнул: внизу, в общем дерьме, лежали огромные кровяные катюхи, будто не человеки здесь управлялись, а воскресшие из небытия мамонты. Потом мне объяснили. “Химикам” запрещалось употреблять спиртное — вот они и придумали: чтобы войти в кайф, заваривали чифир, а потом вводили себе в вену. А утром — страшный запор. И вой, и стоны, и море крови. Короче, дерьмо, а не жизнь.

Вот это человеческое состояние я и запомнил.

И сейчас мне казалось, что моя жизнь стала не лучше, чем у тех бедолаг. Тяжелые и безрадостные мысли теперь неотступно преследовали меня. Кореец углядел во мне какие-то внутренние перемены. Я все чаще ловил на себе его изучающий взгляд. Иногда он вдруг спрашивал, о чем я думаю. Я, как мог, отшучивался. Выдать свое внутреннее состояние означало бы проигрыш в моей игре.

Однажды он пришел веселый, на щеках рдел румянец. Сказал, что его повысили в звании. Видно, исправно трудился с такими, как я. Я поздравил его, пожелал скорее дослужиться до генерала.

— Бог даст, дослужимся! — ухмыльнулся он. — Как там твой подопечный?

Это он о Марке Фельдмане. Давно уже называет его “моим”. Знал бы Марк — вот бы, небось, удивился. Интересно, осудил бы он мою игру? А может, просто рассмеялся бы? Бывают же люди с тонким чувством юмора.

Кореец вел себя хозяином в этой чужой обшарпанной квартире. Сидел развалившись на стареньком диване и словно бы со стороны наблюдал свою благополучную жизнь. Узкоглазый, гладкий, холеный, он напоминал кота, купающегося в хозяйских ласках.

— Вижу, ты сегодня не очень-то настроен говорить о Фельдмане, — улыбнулся он. — Ну, давай не будем о нем. Давай поговорим про другое.

Я счел за счастье услышать эти слова. Видно было, что и Кореец не настроен на работу: его переполняли известные чувства в связи с повышением. Впрочем, подобные паузы были в его правилах: во время их он как бы давал мне психологическую разгрузку, — а заодно и себе.

— Ну, например, поговорим о смысле жизни.

Я неопределенно пожимаю плечами. Говорить с Корецем о смысле жизни у меня тем более нет никакого желания. Но и молчать мне нельзя: себе дороже...

— А есть ли вообще смысл в жизни? — вяло спрашиваю я.

— Конечно, есть! — Кореец, кажется, доволен тем, что я поддержал разговор. Я невесело хмыкаю.

— Наверное, — говорю, — весь этот смысл состоит в том, чтобы натворить кучу грехов и сгинуть с земли.

— В основе всех грехов лежит гордыня, но не все же ею больны, — возражает он весело. — Поэтому не все и грешат.

— В поступках, может, и не все грешат, но в подсознании... По Фрейду, наше подсознание — прибежище всех пороков.

— Ну... — Кореец поднимает брови, глубокомысленно вытягивает губы трубочкой, — у Фрейда субъективное мнение на этот счет. Я думаю, он собственные болячки на все человечество навесил.

— Так уж навесил. Нет, Миша, мне кажется, Фрейд прав.

— Это почему же?

— А потому... — У меня нет охоты пускаться в длинные рассуждения и, наверное, поэтому я наглею. — Возьми хоть себя. Ты что — ангелочек?

— Ну, ты, брат, загнул! — Мишка удивленно хохочет.

— Значит, гресишь?

— Бывает, батюшка! — Он с дурашливо виноватым видом разводит руками. — Ничто человеческое — и тэ дэ и тэ пэ...

Я не принимаю его шутливый тон. Цежу сквозь зубы:

— А разве в твоей профессии можно грешить?

Улыбка на его лице делается несколько растерянной. Я продолжаю:

— Вы имеете дело с людскими душами, а разве грешник может работать с душами? Или я не прав?

Он щурит на меня раскосые глаза, пожимает плечом:

— Прав, прав, поп ты наш самоучка... Да только речь-то сейчас о незначительных грехах. О мирских, так сказать.

Значит, ты допускаешь, что вы имеете право на грехи? — не отступаю я.

— Допускаю.

— Значит, допускаешь, чтобы скальпель хирурга был чуточку затуплен?.. Сам-то ляжешь под такой скальпель?

— Кореец морщит физиономию. Его не устраивает моя логика.

— Вот тут ты не прав. Слишком уж буквально сравниваешь человека с инструментом.

— Не просто человека, Миша, а чекиста. Того, кто поставлен корректировать наше сознание, охранять наши души от скверны. И если такой человек считает, что в его работе допустимы грехи, то... Вон, ваши предшественники — реки крови пролили своими тупыми скальпелями.

Я распалюсь и не думаю о возможных последствиях. Хотел откровенных рассуждений — так получай.

Кореец тоже начинает выходить из себя. Он не ожидал от меня такого натиска.

— Ты о предшественниках-то кончай — в таком тоне!.. — прикрикивает он на меня. — Там была революционная необходимость. А реки крови — это вина не партии и не чекистов, а тех, кто неправильно понял идею...

— Ага! — я саркастически улыбаюсь, киваю головой. — Ошибочка вышла — только и всего. Подумаешь — миллионы жизней!..

Наверное, я устал бояться. Говорю, что думаю. Хочется хоть на мгновение побыть свободным человеком. Кореец смотрит на меня с суровым изумлением.

— А ты, братец, оказывается, плут, — говорит он. — Прикидываешься ягненком, а сам... И где только набрался всего этого? — Он какое-то время молчит, посапывая, потом вдруг примирительно машет рукой. — Ну, ладно, хватит болтать. Только я тебе, Леня, вот что посоветую: впредь нигде не заводи подобных разговоров. Иначе тебе несдобровать. Ты понял?

Он пристально смотрит мне в глаза. За меня боится? Да нет, пожалуй, за себя: не дай Бог, начальство прознает, какие мысли блуждают в башке его подопечного.

— Да это я так, для разминки мозгов, — говорю. — С другими конечно бы не стал. Ты ж меня сам вынудил.

— Ладно, — говорит он, — я верю тебе. Тем не менее, Леня, у тебя в голове каша. Тебе нужен наставник. Знаешь, верующие все-таки хорошую штуку изобрели: они выбирают себе духовных отцов, которые потом ведут их по жизни... Вот скоро завершим операцию с Фельдманом — и тогда займемся твоими мозгами... Что ты глаза вытарачил? Да-да,

операция наша идет к завершению, и пора задуматься над твоим хорошим будущим.

Кореец вдруг посмотрел на часы и поднялся: наверное, его ждали обмывать новую звездочку. Он дал мне очередную установку, и мы разошлись.

В тот день, как и всякий раз после встречи с Корейцем, я вновь и вновь мысленно возвращался к нашему разговору, прокручивая его с самого начала. Как всегда, ругал себя за неосмотрительность, мне казалось, что я где-то переиграл, где-то недоиграл. Как всегда, на душе было мерзко.

Но в этот раз была и новая тревога. Кореец сказал, что операция с Фельдманом завершается, причем сказал таким тоном, будто мы выиграли великую битву со злом и скоро поведем коварного еврея на дыбу. Как это понимать — операция завершается? Но я тут же стал себя успокаивать: скорее всего, у гэбэ просто иссякли все поводы для дальнейшей работы с Марком. Его освободят от подозрений — и все кончится. Так оно и должно быть! Я все для этого сделал. С помощью своей небезопасной игры мне, кажется, удалось отвести беду от этого человека. Я ведь говорил о нем только хорошее. И не только о нем. Его окружение, в моей подаче, сплошь состояло из таких же добропорядочных людей, честных патриотов. Я, дескать, бывал на собраниях местных евреев и ничего предосудительного не заметил. Просто у евреев, как у тех же якутов или армян, есть свои интересы, потому что у них есть свой язык, своя культура, своя история, наконец, — вот об этом они и говорят, спорят, обсуждают. Иногда бывают, правда, именины или еврейские праздники, на которых они веселятся и, как все в нашей стране, пьют водку. Вот, дескать, и все их “вольнодумство”...

Какое чудо русская лень, думал я. Как всегда, она кого-то спасает. Вот и мне, кажется, дает шанс. Ведь те же гэбэшники, не поленись, могли бы проверить мою информацию, и тогда мне пришлось бы несладко. И не мне одному...

В то декабрьское утро я проснулся с ощущением полной внутренней опустошенности. За окном было белым-бело — ночью выпал обильный снег и скрыл под собой все нелепости мира. Все казалось чистым, светлым, лишенным пороков. Белая-белая простыня, на которую еще не лег ни один человеческий грех. Такая вот метафора родилась у меня в голове, когда я увидел молодой снег: белое полотно — и ни единого греха у человечества. Кто тот первый, кто его совершит, кто первый оставит на девственной белизне свой грязный и бестолковый след? Может, это буду я? Эта мысль больно уколола сердце.

Сегодня мне предстояла очередная встреча с Корейцем. Сволочь, подумал я, ну как мне от него отделаться? Собраться с духом и заявить,

что порываю с ними, не буду больше играть в их дьявольские игры? А почему бы и нет! Хватит, натерпелся, нужно, наконец, взбунтоваться. В конце концов, что они могут со мной сделать? Посадить в тюрьму? Ну и черт с ними! Уж лучше гнить в тюрьме, чем смотреть на их самодовольные рожи. Многие нынче сидят, и ничего. И вообще, если хорошо посмотреть, то увидишь, что почти в каждой нашей семье кто-нибудь да сидел. Видно, такая уж судьба у народа нашего советского.

Встреча была назначена на три часа дня. А до этого я должен был сходить в институт, в библиотеку, а также навестить старого армейского кореша, который попал в травматологическое отделение с проломленным черепом. Родственники говорили, что он не подчинился милицейскому патрулю, когда тот решил устроить обыск в его карманах, — вот и изуродовали.

С утра у меня все валялось из рук. Завтракать не стал — кусок не лез в горло. Не только есть-пить — жить не хотелось. Когда вышел на улицу, понял: не могу идти в институт, и вообще никуда — даже к корешу, у которого проломлена голова. Зашел в ближайшую забегаловку, выпил стакан мутного портвейна, запил его кружкой пива. Не помогло.

Побродил по белому от снега, словно вымершему городу, заглянул в захудаленький кинотеатр на городском отшибе. Там с утра гоняли американский фильм и был открыт буфет.

Фильм назывался “Одиннадцать разгневанных мужчин”, герои которого были присяжные судьи. Полный состав суда присяжных — двенадцать человек. В фильме рассматривалось дело о тягчайшем преступлении, за которое полагается смертная казнь. Доказательства убедительны настолько, что присяжные приходят к выводу: виновен! Так считают все, кроме одного. Этот, двенадцатый, заявляет примерно следующее: я не верю, что вы, сразу все одиннадцать, можете быть правы. Так не бывает.

Заявление это поразило меня. Я шел по городу, не видя ничего перед собой, натываясь на редких встречных прохожих, и думал: да, так не бывает, чтобы все вокруг были правы. В таком случае люди просто больны тяжелой болезнью единомыслия. Это случалось в истории и приносило неисчислимы страдания. В средние века единство больной мысли сжигало на кострах невинные жертвы. И в фашистской Германии большинство заболело страшной мыслью, что их нация избрана Богом. И у нас насажденное единомыслие обернулось большой кровью. Оно и сейчас уродует души.

Я вновь сделал попытку напиться. Зашел в пивную палатку, взял стакан перцовой и бутерброд. Перцовку выпил, а бутерброд в рот не полез. Я взял еще стакан перцовой, выпил. В голове прояснилось, на душе потеплело. Мне и думать не хотелось о Корейце. С помощью перцовки я отодвинул от себя тот мир, в котором он заправлял, я ушел в другой мир, пропахший кислым пивом, отдающий блевотиной и грязным муж-

ским телом, но зато свободный от лицемерия, предательства и человеческой низости. И я не хотел уходить из этого мира. Зачем мне из него уходить? Кто меня заставит? Кореец? Да плюю я на этого Корейца вместе с его начальниками. Они для меня — никто. Я их не боюсь, надоело уже бояться, хватит...

А время шло, и чем меньше его оставалось до условленной встречи, тем отчетливее я сознавал, что никуда мне от них не деться. Не смог я убрать Корейца из своего мира, даже с помощью нескольких стаканов перцовки. Наверное, они непобедимы, эти Корейцы.

К назначенному часу я настолько ослаб душевно, что на встречу пришел весь внутренне раскисший, как гнилой помидор. Кореец был в хорошем настроении и потому не сразу заметил мое состояние. А мне хотелось спать. Я готов был растянуться здесь же на полу и спать, спать, спать — до тех пор, пока меня не выкинут из квартиры ее хозяева. Боже, думал я, какая пытка, сколько сил мне еще потребуется, прежде чем я окажусь дома. Я ненавижу Корейца в эту минуту больше, чем прежде. А он, внимательно поглядев на меня, участливо спросил:

— Ты что, Леня, заболел? Или устал? Ну ничего, теперь у тебя будет время расслабиться. Операция наша закончена, с чем я тебя и поздравляю. Пока отдыхай, набирайся сил. А силы нам с тобой понадобятся. У нас, брат, следующий объект — не чета этому несчастному Фельдману.

“Следующий объект”?.. Это как понимать? Они что — и дальше собираются меня использовать? Ну нет, пора с этим кончать. Иначе я точно сойду с ума или повешусь. Надо найти в себе силы сказать им “нет”.

— Вот что, Миша, — начал я вмиг севшим от волнения голосом. Но Кореец тут же резко оборвал меня, будто почувал, что я хочу сказать.

— Заявления и просьбы будут позже, — он холодно посмотрел на меня. — А сейчас послушай внимательно. — Он сделал небольшую паузу. — Значит так: руководство нашего управления выражает тебе искреннюю благодарность за помощь. Поздравляю!

Он тряс мою руку и напряженно улыбался, глядя мне в глаза, пытаюсь уловить в них какую-то реакцию. Но я не чувствовал ничего, кроме внутренней боли.

— С первым успехом тебя, Леня!

— С каким успехом? — я с силой высвободил свою ладонь. — Слава Богу, что от Марка отвязались. Но я и так знал, что он ни в чем не виновен.

— Ты что такое говоришь? — недоуменно воскликнул он. — Еще как виновен! И мы с тобой это доказали!

У меня сердце оборвалось.

— Как доказали?... Кому?

— Всем доказали! — Кореец торжествующе улыбнулся.

Кровь хлынула мне в голову.

— Но ведь... — я силился что-то сообразить, — в моей информации

ничего ведь такого не было... — Я с надеждой поглядел на него. — Я ведь никогда плохого о Марке не говорил! Вспомни! Ты слышишь? Что молчишь?..

— Не впадай в истерику, — одернул он сухо. — Да, может быть, ничего особенного в твоей информации не было. На первый взгляд. Но ее анализировали профессионалы, которые на этой работе зуб съели. Ты твердишь, что Фельдман чист. А он ведь калач тертый, он тебе никогда не доверял. Но вся логика его действий, все его поведение с тобой позволяют сделать определенные выводы...

Я сидел, словно деревянный истукан, ничего не видя перед собой. Наконец вяло спросил:

— И что с ним теперь будет?

— Его вчера арестовали, — спокойно ответил Кореец.

Я вздрогнул. Растерянно посмотрел на него: может, шутит? По его лицу понял, что нет, не шутит.

— А дальше что?

— Видимо, лагерь. Такие люди должны сидеть в лагерях.

Меня всего заколотило, затрясло крупной дрожью. Из меня выходили остатки давешнего хмеля, и остатки сил, и с ними, видимо, выскочил на время страх. Я всхлипнул и стал выкрикивать слабым, каким-то не своим, бабьим голосом:

— Я же все врал! Как вы могли — по моей “липе”... Я же с ним не встречался! Ни разу! Я его в глаза не видел! Я вам врал, врал!.. А вы... а вы...

— Ладно наговаривать-то на себя, — Кореец налил в стакан воды из графина, подал мне. Потом усмехнулся:

— А пускай даже ты и врал — что с того? Это ничего не меняет. Ты думаешь, мы дураки? Думаешь, мы пользовались только твоей информацией? У нас были и другие источники. Так что вот так.

Дрожащей рукой я поставил полный стакан на стол, расплескав воду по линялой скатерти. С каким-то свежим удивлением, будто очнувшись ото сна, посмотрел на ухмыляющегося Корейца. Да, да, конечно, как я мог принимать их за дураков?.. Как я не сообразил раньше, что они могут запросто найти негодяев, готовых смешать с грязью бедного музыканта Фельдмана? Но, в таком случае, я-то зачем был им нужен?.. Ах, да, что ж тут непонятного. Чтобы лишний раз показать свое всесилие. Мол, как бы ты, голубчик, ни крутился, и что бы о себе ни думал, а мы тебя все равно сумеем искупать в дерьме. И ведь искупали! Вот этот, радостно ухмыляющийся, дружески подающий мне воду, — это он сделал из меня Иуду. И таковым мне теперь оставаться до конца дней своих.

Слезы хлынули у меня ручьем. Я завыл жалко и протяжно, как собака на луну. Я хотел умереть и, что было гаже всего, я хотел жить.